



политика

Л. Г. Фишман

ПОЧЕМУ ПОЛИТИКА ОПИСЫВАЕТСЯ КАК ВОЙНА?

Обращение к милитарным метафорам при описании политической борьбы, равно как и в самой политической борьбе, является для нас настолько привычным, что мы обычно не задумываемся слишком глубоко об истоках подобной практики. Использование же милитарной риторики в отечественной политике вообще считается естественным следствием нашей истории. В частности, А. П. Чудинов отмечает: «Так сложилась российская история, что на судьбу едва ли не каждого поколения приходилась война, а поэтому военная лексика — это один из основных источников метафорической экспансии на самых разных этапах развития русского языка. Богатый военный опыт традиционно находил свое отражение и в национальной ментальности, военные метафоры как бы показывали наиболее эффективный путь для решения сложных проблем общества <...> Активное использование военной метафоры, видимо, отражает особенности национального самосознания наших современников, имеющиеся в нем мощные векторы тревожности, опасности и агрессивности, а также традиционные для русской ментальности предрасположенность к сильным чувствам и решительным действиям, уважение к военной силе и боевой славе»¹.

¹ Чудинов 2001: 104, 112.

Однако если причины постоянного использования милитарных метафор заключаются в том, что в российской истории было очень много войн, то какой же тогда должна быть, например, политическая риторика Древнего Рима или Древней Греции? У них на поколение приходилась зачастую даже не одна война. Более того, согласно М. Веберу, античный полис в своей основе был прежде всего «цехом воинов». Впрочем, откровенно говоря, мы имеем довольно слабое представление о том, к какой политической риторике прибегали вожди античной улицы, апеллируя к массам. История сохранила для нас речи Демосфена, обращенные к народному собранию, или речи Цицерона, обращенные к сенату. Но нам трудно судить о содержании обращений демагогов к афинской толпе или трибунов к римской: насколько широко в них использовалась милитарная риторика, мы сказать не можем.

Далее, если взять историю любой крупной или даже не очень европейской страны, в ней наверняка обнаружится не меньше войн, чем в аналогичный период истории России. Поэтому и причин для формирования милитарной политической риторики там найдется не меньше.

Из этого следует, что такого рода риторика есть если не общечеловеческое, то общеевропейское явление. Причем явление естественное для публичной политической жизни, свойственной демократическим

(или с элементами демократии) режимам. При этом надо отметить, что военные метафоры в принципе допустимы в какой угодно политической культуре. Хотя бы потому, что политика вообще вторичное явление и в ее риторике присутствуют метафоры из многих областей человеческого бытия, начиная с торговли и религии и заканчивая природой, спортом, театром и т.д. Так, уже у Гераклита мы находим высказывания: «Война — отец всех вещей», «Народ должен защищать закон как крепостную стену».

Но проблема заключается не столько в военной риторике как таковой, сколько в превращении войны в один из главных архетипических прообразов (своего рода «гештальт»), используемых для осмысления политической сферы. Самого по себе наличия в истории цивилизации многочисленных войн недостаточно для формирования до такой степени глубоко укорененной в политических процессах военной риторики, как в России и в Европе.

Даже сегодня, когда ни Россия, ни Европа уже более полувека не вели крупных судьбоносных войн, в их политической риторике остаются многочисленные военные метафоры, обычно связанные с борьбой партий в парламентах и на выборах, давно ставшей основой политической жизни. Партии сталкиваются как *армии* в политических *сражениях*, в которых *одерживают победы* и *терпят поражения*; они *мобилизуют* избирателей, *рекрутируют* сторонников, ведут предвыборные *кампании*, поддерживают внутри себя строгую *дисциплину*, сохраняют верность *знамени*; политический *генералитет* в них руководит *рядами* членами, и т.д.

В лекциях, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975—1976 гг., М.Фуко связывает этот «дискурс войны» со сложившейся в XVII в. практикой «контристорий» как антитезой «индоевропейской форме исторической практики, ориентированной на власть»². «Контристория», которую он затем называет дискурсом «политического историцизма»³, оперирует понятиями борьбы рас, завоевателей и поработенных, восстания вторых против первых, классовой борьбы и т.д. Фуко замечательно описывает зарождение и перипетии этого дискурса, но остается неясным, почему он возник именно в XVII в. и именно в Европе. (Для него интереснее вопросы: когда возник этот дискурс? почему решили, что гражданское устройство базируется на борьбе? «кто вообразил, что гражданский порядок основан на битве?»⁴) И это неудивительно: с тем же основанием можно было бы ожидать возникновения подобного дискурса в иные времена и в иных культурах. В конце концов, вся человеческая история есть история завоевания одних другими, а также гражданских войн. Фуко и сам косвенно признает уязвимость своей концепции, когда замечает, что историко-политический дискурс о войне «появился вовсе не как результат констатации или анализа гражданских войн XVI в.»⁵. Иначе говоря, его стратегия объяснения генезиса одного дискурса с помощью другого не способна ответить на интересующий нас вопрос.

² Фуко 2005: 95.

³ Там же: 125.

⁴ Там же: 64.

⁵ Там же: 66.

Лишь частично объясняет формирование военной риторики и теория военных революций, вплоть до военной революции XVII в., произошедшей в Европе. Эта теория, сформулированная М.Робертсом, Дж.Паркером и др., дает правдоподобное объяснение трансформациям политических режимов и социально-классовой структуры до XVII в., но вряд ли позже. Ведь если между рыцарской военной техникой и феодализмом, фалангой и полисной демократией, мушкетом и абсолютной монархией (или, шире, централизованным государством) действительно прослеживается достаточно четкая связь, то применительно к XIX и — тем более — XX вв. мы можем только с определенностью утверждать (вслед за Мао Цзедунем), что «винтовка рождает власть», не имея при этом возможности говорить, что, к примеру, винтовка Маузера рождает национал-социализм, а винтовка Мосина — советский коммунизм.

Чтобы объяснить, каким образом война в европейской политической культуре смогла стать едва ли не архетипическим прообразом, «гешталтом» описания политической борьбы, военные революции, по-видимому, нужно рассматривать как революции не столько в вооружении, сколько в социальных технологиях. Начиная с XVII в. технологическая революция выводила на поле боя все более многочисленные массы народа, и само наличие этих масс (в сочетании с новой военной техникой) порождало потребность в новых социальных технологиях. Эти технологии, в частности новое понимание дисциплины, практика муштры, выдвижение по заслугам, обеспечение идеологической спайки солдатских масс при сохранении места для старого военного сословия (аристократии), *в каком-то смысле опережали свое время, предвосхищали социальные технологии, которые впоследствии были выработаны в гражданской жизни*⁶. Армии Нового времени первыми столкнулись с массой — и с проблемой превращения ее в общность, связанную едиными целями и ценностями; в гражданской (политической) жизни эта проблема во всей остроте встала гораздо позже.

Но чтобы осмысление политики как войны приобрело определяющее значение, разумеется, требовалось уникальное стечение исторических обстоятельств: обилие не просто войн, а войн гражданских; необходимость для политических режимов легитимировать себя результатами этих войн; участие в политической борьбе субъектов, аналогичных армиям. Более того, *даже войны между государствами должны были носить квазигражданский характер и восприниматься прежде всего как войны между разными режимами*. Только тогда война начинает ощущаться как нечто имманентное для политики. Отчасти такая ситуация имела место в классический период античности; аналогичная, но еще более выраженная сложилась в Новое и Новейшее время в Европе и США.

Весьма показательно поэтому, что осмысление политики в свете «гешталта» войны происходило по мере формирования так называемого либерального идеологического консенсуса. Вместе с тем едва ли

⁶ В связи с этим интересно замечание У.Мак-Нила: «Искусственно созданное сообщество хорошо вымуштрованных взводов и рот быстро сменяло традиционную иерархию доблести и общественного положения, сформировавшую европейское общество и наделившую его способностью к самообороне в дни расцвета рыцарства» (Мак-Нил 2008: 156).

верно утверждать, что осмысление политики как войны вытекает исключительно из либерализма. Не менее справедливо и обратное утверждение — сам либерализм был вызван к жизни философским осмыслением описанной выше уникальной ситуации, в которой война с необходимостью стала восприниматься как явление, определяющее глубинную природу политики.

⁷ *Обоснование такой трактовки Гоббса см. Поляков 2009: 87.*

Так или иначе, но предтеча либерализма Т.Гоббс⁷ в начало человеческой истории поместил «естественное состояние», которое квалифицировалось как «война всех против всех»: «Отсюда очевидно, что, пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех»⁸.

⁸ *Гоббс 1936: 115.*

Чтобы прийти к миру, гарантировать свое право на жизнь, люди должны были отказаться от всех своих естественных прав или хотя бы их части в пользу государства-суверена. В результате само государство приобретало черты индивида — единственного, кто продолжал жить по естественному закону войны всех против всех, ибо отдельным людям это запрещалось. Тем самым была заложена субъектная парадигма внешней политики, в которой сверхсильные государства-Левиафаны естественным образом боролись с такими же Левиафанами: «Хотя никогда и не было такого времени, когда бы частные лица находились в состоянии войны между собой, короли и лица, облеченные верховной властью, вследствие своей независимости всегда находятся в состоянии непрерывной зависти и в состоянии и положении гладиаторов, направляющих оружие один против другого и зорко следящих друг за другом. Они имеют форты, гарнизоны и пушки на границах своих королевств и постоянных шпионов среди своих соседей, что является состоянием войны»⁹.

⁹ *Там же: 116.*

Гоббсовское представление о естественности «войны всех против всех» позднее многие оспаривали (в частности, уже Дж.Локк, А.Смит и ряд французских просветителей), доказывая, что в начале человеческой истории была не всеобщая война, а та или иная степень сотрудничества между людьми. Однако Гоббс как свидетель гражданской войны имел преимущество очевидца — он знал на собственном опыте, как начинают вести себя люди в условиях крушения «общей власти»: «Во всяком случае, какова была бы жизнь людей при отсутствии общей власти, внушающей страх, можно видеть из того образа жизни, до которого люди, жившие раньше под мирной властью правительства, обыкновенно опускаются во время гражданской войны»¹⁰.

¹⁰ *Там же.*

Этого оспорить уже было нельзя, тем более что гражданская война в Англии была отнюдь не первой и не последней в Европе; и какой бы альтернативный миф о естественном состоянии либералы ни клали в дальнейшем в основу своих теорий, им фактически приходилось отвечать на гоббсовский вопрос: как избежать «войны всех против всех», в которую погружаются индивиды (даже если «по природе» они добры и склонны к сотрудничеству) во время гражданских войн? Вроде бы

цивилизованные люди, особенно низшего звания, тогда превращаются в «варваров», а значит, надо позаботиться о том, чтобы закрыть им путь в политику — в противном случае «война всех против всех» неизбежна. Впрочем, на практике все имплицитно признавали глубинную правоту Гоббса и поступали так, как если бы война всех против всех действительно являлась естественным состоянием людей. Из этой веры выросли многочисленные ограничения (вроде имущественного, образовательного и прочих цензов), призванные не допустить в политику мирного времени «опасные элементы», которые поначалу составляли большинство населения.

Как бы то ни было, в либеральной парадигме само общество является собой отложенную (гражданскую) войну, и война эта откладывается в той мере, в какой она переносится вовне — в область соперничества государств-Левиафанов на международной арене.

Вторым ключевым моментом формирования «гештальта» политики как войны является возникновение политических партий — организаций, непосредственно обязанных своим происхождением как гражданским войнам, так и институтам представительного правления. Это добровольные объединения, более или менее массовые, более или менее идеологически спаянные, достаточно централизованные. Их бюрократия правит как бы с согласия партийной массы, и на этом же согласии основана партийная дисциплина. Партии борются друг с другом, а иногда и с государством.

Принципиально здесь то, что партии — незапланированный, побочный продукт функционирования либерально-демократических политических режимов. Партии — неожиданно возникшие посредники между гражданином (и гражданским обществом) и государством, которые многим вначале казались уродливыми наростами на теле демократии. Если в теории общественного договора граждане отказались уже от части своих прав в пользу государства, которому одному только дозволено жить по естественному закону войны, то где тут место для партий? Ведь партии в определенной степени узурпируют права суверена и тем самым возвращают во вроде бы демилитаризированное общество элементы войны. Таким образом, партии, как бы их ценность и необходимость ни пытались потом обосновать, объективно выступают в качестве организаций, предназначенных для все той же войны, но уже гражданской. Если либеральное гражданское состояние есть следствие отложенной гражданской войны, то партии — армии этой войны, призванные поддерживать себя в боеспособном состоянии.

Поэтому неудивительно, что милитарная риторика проникает в политическую жизнь, что партии воспринимают и описывают себя как сражающиеся армии, что в сфере идеологии появляется представление о борющихся классах и классовой войне и т.д.

Но дальше возникает вопрос: следует ли выводить дух партийной борьбы из сущности армий Нового времени в целом, то есть армий как инструментов Левиафана, предназначенных преимущественно для

внешней войны, или же нужно сосредоточить внимание на армиях гражданских войн, которые в изобилии случались в Европе еще до отнесенности недавнего времени? Первый аспект нельзя игнорировать не только по «техническим причинам» (армии гражданской войны — наследницы армий мирного времени), но и потому, что армии государства-Левиафана изначально были едва ли не важнейшим (и последним) гарантом гражданского мира и порядка. Мак-Нил называет их «новым Левиафаном» и замечает, что «хорошо вымуштрованная армия... стала самым дисциплинированным и эффективным из всех инструментов претворения политических задач»¹¹. Не в последнюю очередь благодаря образованию регулярных и достаточно профессиональных армий государства классической Европы достигли такой внутренней стабильности, которая обеспечила им возможность быстрого экономического и научного развития.

¹¹ Мак-Нил 2008: 141.

С другой стороны, армия, которая в нормальной ситуации не должна быть политическим субъектом, дает этим субъектам образцы организации, стоит им только вступить в борьбу друг с другом. И это касается не только политических, но и экономических субъектов, ведущих между собой конкурентную борьбу. Прежде всего речь идет о дисциплине, обеспечивающей подчинение низших высшим ради достижения каких-то целей. С определенного момента (возможно, с эпохи «возрождения пехоты» на закате средних веков или со времени перехода от наемных армий к регулярным) армия начинает поставлять образцы рациональной бюрократической организации «капиталистического предприятия» (войны). Вне зависимости от того, были ли прототипы такой организации взяты из гражданской жизни (практики капиталистического ведения дел), в армии они достигают наивысшего воплощения. В рациональном предприятии ведения войны армия организует массы людей ради достижения единой цели, заставляя каждого «знать свой маневр», приучая, как на мануфактуре, четко выполнять некий круг операций и т.д. (В этом отношении характерен научный подход Морица Оранского к процедуре заряжения мушкета, которая была поделена на сорок с лишним операций.) Как справедливо замечает В.Зомбарт, достижение дисциплины в цехах промышленного предприятия облегчалось тем, что многие управленцы уже прошли школу армейской дисциплины: «Нужно ли сомневаться в том, что именно люди, в свое время занимавшиеся на плацу, позднее применяли на фабриках новое искусство управления...». Не следует забывать, что хронологически армейские дисциплина и муштра появились раньше промышленных: поданный армией пример «уже оказывал свое воздействие... и царивший в ней дух распространялся в остальных слоях населения»¹².

¹² Зомбарт 2008: 281.

Не менее важно, что армия, наверное, первой в Новое время сталкивается с проблемой «восстания масс» и первой же вырабатывает процедуры их организации и укрощения: она научается делать из человека функциональное существо — солдата. Впоследствии данная практика стала неотъемлемой частью процесса становления национальных

государств Европы, формировавших своих граждан посредством школы и армии.

Но, пожалуй, более непосредственное отношение к политике и партиям имеет опыт армий эпохи гражданских войн.

Армии гражданской войны обычно представляют собой (хотя бы в основе) добровольные военные формирования. Авторитет командиров в них носит не только бюрократический и традиционный, но и сугубо политический характер. Спайка и дисциплина солдат, не говоря уже об их моральном духе, здесь в огромной степени зависят от преданности идее.

Если гражданская война усугубляется еще и религиозными разногласиями или даже разгорается по их причине, как это неоднократно случалось в Европе, то идеологическая спайка становится еще более крепкой в силу ее религиозной природы; религия органически вплетается в гремучий сплав войны и политики. Тогда армии гражданской войны начинают напоминать в равной степени как современные партии, так и религиозные секты.

Яркие примеры подобных армий-партий-сект мы встречаем уже в гуситской Чехии, где «феодалная революция», проходившая под религиозными лозунгами, создала новый тип идеологически сплоченной армии. Этой армией руководили вожди, вместе с тем выступавшие в роли политических лидеров и священников, а ее моральный дух был настолько высок, что гуситы нередко обращали в бегство своих противников одним только пением боевых хоралов. Табор являлся одновременно и полевой общиной, и полевым войском, которым командовал гетман, решавший военные и религиозные вопросы. Постепенно из чисто военной организации Табор превратился в самостоятельную и суверенную корпорацию, где «военную субординацию и добровольную религиозную принадлежность в политико-гражданской сфере регламентировали федеративные альянсные отношения»¹³.

¹³ Гаркуша 2007.

Иными словами, в ходе гуситской революции возникла своего рода армия-партия-секта во главе с военно-религиозно-политическими вождями, в которой подчинение военной дисциплине сочеталось с подчинением дисциплине политической и конфессиональной.

Аналогичный синтез (причем в гораздо более широких масштабах) мы встречаем и во времена Реформации. Так, во Франции XVI в. вожди католической и гугенотской партий почти сплошь принадлежали к военным: у католиков — коннетабль Монморанси и Антуан де Бурбон, у протестантов — адмирал Колиньи. Помимо прочего, гугенотская партия состояла в основном из представителей мелкого и среднего дворянства — все того же военного сословия. Известно, как истерзала Францию борьба этих двух армий-партий-сект. Уже современник этой борьбы Филипп Дюплесси-Морнье призывал: «Пусть у нас больше не говорят ни о гугенотах, ни о папистах» — и замечал, что лучше всего быть просто «добрым французом»¹⁴.

¹⁴ Цит. по: Карпантье и др. 2008: 225.

Развитие в этом направлении породило не только религиозно спаянную армию французских гугенотов, но и воспитанную в протестантском

духе армии Густава-Адольфа, по поводу которой А.Свечин писал: «Представительство крестьян в рейхстаге, устраняя феодальное средостение между государством и крестьянством, позволило шведским королям использовать национальное и религиозное одушевление и ввести в дополнение к добровольной вербовке рекрутский набор. Таким образом, шведская армия получила еще более сильное национальное ядро, чем испанская армия, и по своему составу существенно превосходила случайный материал, наполнявший армию Морица Оранского»¹⁵.

¹⁵ Свечин 2002: 175.

И, конечно, особенно показательно, что именно в стране классического парламентаризма, Англии, «революция выдвинула облик такого гениального милитариста, как Кромвель, создала столь оригинальный процесс милитаризации целой революционной партии, открыла нам картины таких крупных военных достижений, что историк военного искусства не может обойти ее молчанием»¹⁶.

¹⁶ Там же: 180.

Ряды «железнобоких» комплектовались Кромвелем из «людей религии», ибо только они по своему духу могли противостоять «людям чести» — младшим сыновьям джентльменов, составлявшим армию короля. «...Кромвель с самого начала войны начал вербовать в свой эскадрон, а затем и в свой полк своих религиозных и политических единомышленников.... Солдат шел в „железнобокие“ Кромвеля для того, чтобы служить идее, идеальные побуждения и партийный состав резко отличали „железнобоких“ от других наемников XVI и XVII вв. В части, составленной из пуритан, которые видели в жизни одно неумолимое выполнение долга, естественно, сложилась суровая дисциплина, которая еще увеличивала сплоченность партийных единомышленников. Политические, экономические и религиозные идеалы, являвшиеся догматами пуритан, оказались в силах создать нового человека, нового сознательного бойца. ...Кромвель стремился всю „новую“ армию создать по образцу своих „железнобоких“. Армия Кромвеля должна была получить отпечаток рыцарского ордена, партии, секты»¹⁷.

¹⁷ Там же: 182—183.

Эта «партийная армия», как известно, выступала со своей политической программой, и наряду с назначенными офицерами в ней были солдатские советы, интересы которых учитывал Кромвель.

Между тем, и это надо отметить особо, армии-партии-секты времен гуситской революции и Реформации далеко не всегда представляли собой исключительно местечковые образования. Зачастую речь шла об интернациональных движениях, объединенных своего рода идеологической общностью, что роднит их с партиями более позднего периода.

Эпоха Французской революции и наполеоновских войн потребовала бы отдельного разговора, поэтому ограничимся тем, что отметим: именно в эту эпоху на арену вооруженной и политической борьбы вышли широкие массы, что сразу же изменило облик войны и политики. Революционные комитеты, Национальная гвардия и в значительной степени регулярная армия — все они в равной мере были как политическими, так и военными организациями, в которых выдвижение на

руководящие должности осуществлялось в зависимости от преданности революции и народу, а также от профессиональных качеств. «В период Республики, — констатирует А.Форрест, — и особенно при якобинцах существовала тенденция рассматривать армию как объединение революционных активистов, добровольцев, избранных за свой патриотизм и революционную энергию»¹⁸.

¹⁸ Форрест 1998.

Главное заключалось в том, что массовым армиям Революции (а затем Наполеона) ее противники могли противопоставить только такие же армии, поскольку относительно немногочисленные профессиональные армии классической Европы раз за разом оказывались биты. Враги Революции тоже должны были вооружать массы, а следовательно — хотя бы отчасти перенимать военно-социальные технологии Революции, превращавшие подданного в гражданина, который вдохновлялся если не прямо революционной идеологией, то близкой к ней идеологией националистической. Не менее важным было то, что в эту эпоху межнациональные войны начали приобретать характер гражданских. Именно тогда войны в Европе стали вестись под либеральными и националистическими лозунгами: одни воевали за свободу и республику, другие — за старый порядок, третьи — за независимость, четвертые помогали третьим и т.д.

Таким образом, когда в Европе стали возникать собственно политические партии, особенно массовые, с цементирующими их идеологиями, при попытке осмыслить их организацию, деятельность, структуру тут же обнаруживалось удивительное сходство с армиями многочисленных европейских гражданских войн, прежде всего религиозных, а затем — революционных и национально-освободительных. И, конечно, противоборство этих партий стало описываться в военных и религиозных терминах. Более того, философская мысль Просвещения еще до Великой французской революции именно потому с опаской, а то и с суровым осуждением относилась к партиям и «кликакам», что отлично улавливала их прямую связь с состоянием гражданской войны: слишком свежо было воспоминание о первой «европейской гражданской войне» — Реформации.

Показательно, что, когда эти связи между войной и политикой вполне сформировались, первая и вторая мировые войны уже осмысливались как «европейские гражданские». Они велись внутри одной цивилизации, с одними базовыми ценностями, но под разными идеологическими лозунгами. И, главное, это были невиданные доселе по масштабу схватки не правителей, а народов, которые поначалу кинулись в них радостно и добровольно.

Символично, что в десятилетия, предшествовавшие первой мировой войне, развернувшийся в странах Европы и в США «процесс демократизации» был чрезвычайно насыщен военной символикой.

В немалой степени это было обусловлено тем, что сложившиеся демократические или с элементами либеральной демократии политические режимы сами являлись плодами революций и гражданских

войн, а также войн за независимость. Так, во Франции государственным праздником стал день взятия Бастилии, в США — день обретения независимости от Британской империи, даже маленькая Голландия праздновала освобождение от Наполеона.

В тот же период немцы отмечали объединение Германии путем дипломатии и войн, причем особый упор делался на ее впечатляющую военную мощь и, как следствие, глобальные амбиции. В Англии появились «вновь изобретенные традиции, основанные на использовании как старых испытанных средств эмоционального возбуждения — блеска королевской власти, славы военных побед, так и новых — мощи империи и романтики колониальных завоеваний»¹⁹.

¹⁹ Хобсбаум 1999: 154.

Немалый вклад в милитаризацию политической жизни внес и бурно расцветший национализм: сформировался ряд национальных движений, члены которых провозглашали превосходство своей нации и расы над другими. Но еще более важным был возникший тогда же сплав националистических и социалистических движений (в Польше, Австро-Венгрии, Британской и Российской империях и т.д.). Движения, по необходимости нацеленные как на классовую борьбу, так и — в перспективе — на гражданскую и национально-освободительную войну, были особенно восприимчивы к военной символике. Да и не националистические партии, прежде всего левого толка, на фоне давно уже ставшего привычным представления о политике как об отложенной гражданской войне столь же привычно пытались «мобилизовать» «армию промышленных рабочих» для борьбы за свои цели.

Вся эта военная символика и риторика были естественны в условиях политических режимов, легитимировавших себя результатами прошедших гражданских и внешних войн и ожидавших войн будущих. Поэтому едва ли приходится удивляться тому, что «прогресс политики демократизации в период 1880—1914 гг. не стал предвестником ни постоянства демократии, ни ее всеобщего и полного торжества»²⁰. Еще менее удивительно, что после Великой войны широкое распространение получили политические организации, объединявшие ее ветеранов. «Вслед за профсоюзами, философскими обществами, церковь в качестве внешних организмов, способных породить партии, следует назвать объединения ветеранов. Они сыграли очень большую роль в возникновении фашистских и псевдофашистских партий сразу после войны 1914 г., — констатирует М.Дюверже. — Общеизвестно влияние традиций прежних балтийских „вольных цехов“ на истоки национал-социализма, так же как и подобная взаимосвязь объединения бывших итальянских участников войны с фашизмом. Еще более яркий феномен в этом отношении — Франция 1936 г., где союз бывших фронтовиков — „Боевые кресты“ — просто-напросто превратился в политическую организацию, став французской Социальной партией»²¹. Однако еще большую роль играли собственно партии, имевшие в своей основе структуру милиции, или ячейки, либо создававшие такие структуры в качестве дополняющих. Наибольшего успеха в этом достигли

²⁰ Там же: 162.

²¹ Дюверже 2000: 32.

коммунисты и фашисты, но аналогичные структуры создавали и социал-демократы.

Очевидно, что в промежутке между мировыми войнами милитаризация политической жизни достигла, вероятно, своего пика. Некоторые видные философы уже после первой мировой даже заключили, что война настолько пронизала мирную жизнь, что между войной и миром больше нет четкой границы, да и «мира» как такового больше нет. Так, согласно Хайдеггеру, отмечает А. Михайловский, мировые войны — это «миро-войны», «предварительная форма устранения различия между войной и миром», каковое неизбежно, поскольку «мир» стал не-миром вследствие потери сущим истины бытия. Иными словами, в эпоху, когда правит воля к власти, мир перестает быть миром. «Война стала разновидностью того истребления сущего, которое продолжается при мире... Война переходит не в мир прежнего рода, но в состояние, когда военное уже не воспринимается как военное, а мирное становится бессмысленным и бессодержательным»²². Э. Юнгер выдвинул концепцию тотальной мобилизации, в соответствии с которой «картина войны как некоего вооруженного действия... вливается в более обширную картину грандиозного процесса работы. ...Для развертывания энергий такого масштаба уже недостаточно вооружиться одним лишь мечом — вооружение должно проникнуть до мозга костей, до тончайших жизненных нервов. Эту задачу принимает на себя тотальная мобилизация, акт, посредством которого широко разветвленная и сплетенная из многочисленных артерий сеть современной жизни одним движением рубильника подключается к обильному потоку военной энергии»²³.

²² Михайловский
2002.

²³ Юнгер 2000:
449—450.

Ведущая роль «гештальта» войны в осмыслении политики подтверждается, в частности, тем, что милитарная риторика, риторика «лагерей» и «тотальной мобилизации» настолько прочно вошла в политическую жизнь, что лидеры ведущих демократий до сих пор не знают более действенного средства политической мобилизации.

Но самое странное заключается в другом. В то время как Европа, Россия и США постепенно отказываются от военно-социальных технологий эпохи массовых армий (призывные армии заменяются профессиональными), их потенциальные противники по «войне цивилизаций» только проходят стадию господства этих технологий. И они проявляют себя хорошими учениками. Удивительно ли, что как только закончилась «холодная война», почти сразу же начались «столкновения цивилизаций», «война с терроризмом» и иные подобные войны, постоянно подпитывающие милитарную политическую риторику вроде бы демилитаризирующихся обществ? А как иначе ответить на вызов своего собственного вчерашнего дня, эхо которого все громче долетает извне?

Библиография

Гаркуша Л.М. 2007. *Современная гуситология в Чехии. Состояние и основные направления исследований*. Автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. ист. наук. — М. (<http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Garkusha.pdf>).

- Гоббс Т.** 1936. *Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского*. — М.
- Дюверже М.** 2000. *Политические партии*. — М.
- Зомбарт В.** 2008. Война и капитализм // Зомбарт В. *Собрание сочинений в 3-х томах. Исследования по истории развития современного капитализма*. Т. 3. — М.
- Карпантье Ж.** и др. (ред.) 2008. *История Франции*. — СПб.
- Мак-Нил У.** 2008. *В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI—XX веках*. — М.
- Михайловский А.** 2002. О войне и мире // *Отечественные записки*. № 8.
- Поляков Л.В.** 2009. О понимании свободы. Перечитывая Исайю Берлина // *Полития*. № 1.
- Свечин А.А.** 2002. *Эволюция военного искусства*. — М.
- Форрест А.** 1998. Французские солдаты и распространение революции в Европе // *Исторические этюды о французской революции*. — М. (<http://liberte.newmail.ru/Forrest.html>).
- Фуко М.** 2005. «Нужно защищать общество». *Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1975—1976 учебном году*. — СПб.
- Хобсбаум Э.** 1999. *Век империи. 1875—1914*. — Ростов-на-Дону.
- Чудинов А.П.** 2001. *Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991—2000)*. — Екатеринбург.
- Юнгер Э.** 2000. Тотальная мобилизация // Юнгер Э. *Рабочий. Господство и гештальт*. — М.